

ЮЛИЯ ТРУСОВА

СЛЕД ВОДЫ

18+

Юлия Трусова

След воды

«Автор»

2026

Трусова Ю.

След воды / Ю. Трусова — «Автор», 2026

Швейцария. 1912 год. Доктор Эмиль Маринеску, молодой психотерапевт, никогда не видел снов. Но однажды ночью необъяснимая тревога заставляет его выйти из дома и отправиться на поиски пациентки, страдающей сомнамбулизмом. То, что начинается как врачебный случай, постепенно становится путешествием к границе, где наука перестаёт быть единственным языком мира. «След воды» — история о любви, тайне и о том, почему некоторые открытия нельзя превращать в знание.

© Трусова Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Вода зовёт спящего	5
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Юлия Трусова

След воды

Вода зовёт спящего

Доктор Эмиль Маринеску проснулся в три часа семнадцать минут ночи не от звука, а от провала в звуке, будто где-то совсем рядом из ткани ночи выдернули одну-единственную нить, и весь её невидимый узор на мгновение дрогнул.

Он не пошевелился.

За годы врачебной практики Маринеску усвоил простое правило: тело замечает опасность раньше сознания. Мысль ещё ищет объяснение, а сердце уже меняет ритм, мышцы становятся плотнее, дыхание едва заметно задерживается. Спорить с этим было так же бессмысленно, как убеждать кровь течь в обратную сторону.

Поэтому он ждал. Иногда тревога исчезала сама. Иногда спустя несколько секунд становилось ясно, что за окном хлопнула ставня или в соседней комнате скрипнула половица.

Но сейчас происходило другое. Тревога не проходила — она росла. Тогда он медленно открыл глаза.

Комната оставалась тёмной и почти чужой. В полумраке белела льняная занавеска, едва шевелившаяся от тихого ночного ветра. За окном тяжело, глубоко дышало июльское озеро. Хелена спала, отвернувшись к стене. Светлые волосы рассыпались по белой наволочке и плечу мягким золотистым пятном. Одну ладонь она по привычке держала под щекой, и дыхание её было ровным, спокойным, почти по-детски беззащитным.

Маринеску не пошевелился. Он слушал.

В доме напротив, где располагалась клиника, тоже должно было что-то звучать. Этот дом никогда не спал до конца. Даже ночью в нём продолжалась своя тихая жизнь: оседали старые балки, в трубах медленно проходила вода, кто-нибудь из больных заходил с сухим кашлем, поскрипывали половицы под осторожными шагами медсестер, позвякивало стекло аптечного шкафа, если ветер находил щель в раме. Даже молчание здесь имело собственный ритм.

Теперь этот ритм был нарушен.

Тишина мучительно собиралась в нём, стягивалась в одну точку, как кровь собирается под кожей после удара.

Он машинально посмотрел на часы. Стрелки показывали три часа семнадцать минут. Позже Маринеску не мог понять, почему запомнил их положение с такой точностью: в ту ночь время почти сразу перестало быть последовательностью и стало направлением.

Он ещё не понимал, что произошло. Но тело уже знало направление. Он поймал его в ощущениях, почувствовал кожей, будто кто-то едва заметно коснулся его между лопаток.

Двенадцатая палата.

Палата Элис Вайс.

Он не смог бы объяснить, почему именно её. Днём Элис была тиха, безукоризненно вежлива, почти чрезмерно собрана. Болезнь в ней не кричала, не заламывала рук, не превращала лицо в маску безумия. Она только иногда поднимала глаза так, словно слышала в комнате ещё один разговор, более древний и более важный, к которому остальные не были допущены.

Маринеску сел на кровати.

Хелена не проснулась. Несколько прядей светлых волос выбились из косы и лежали на подушке тонкими золотистыми нитями. Она всегда спала спокойно, словно ночь никогда не могла принести ничего неожиданного.

Он вдруг почувствовал почти непреодолимое желание коснуться её плеча не для того, чтобы разбудить, а чтобы убедиться, что эта жизнь всё ещё рядом.

Пальцы уже почти коснулись её, но он остановил себя. Если Хелена откроет глаза, ему придётся объяснить, почему он среди ночи одевается и выходит из дома. А он не смог бы объяснить этого даже самому себе.

Он бесшумно поднялся с кровати. Её покой остался по одну сторону ночи, его тревога — по другую. Он нащупал в темноте рубашку, быстро оделся, снял с вешалки свежий, тщательно выглаженный халат, но не надел его, а привычным движением перекинул через руку. Всё происходило спокойно, почти автоматически. Страх ещё не получил права на тело.

Только когда он вышел из дома и июльский воздух коснулся лица влажной холодной ладонью, Маринеску почувствовал, что торопится.

Он ещё пытался идти обычным шагом. Так врач идёт к больному, пока не знает, насколько всё серьёзно, но с каждой секундой шаг становился быстрее.

Он не понимал, что именно произошло в двенадцатой палате. Только одно казалось несомненным: если человек покидает постель во сне, то каждое потерянное мгновение начинает работать против него.

Маринеску почти никогда не позволял себе думать словами «слишком поздно». Он видел достаточно смертей, чтобы знать: эта мысль не помогает никому. И всё же сейчас она впервые возникла сама.

Не опоздать.

Он ускорил шаг.

Клиника стояла через дорогу, строгая и светлая даже ночью. Высокие окна отражали дрожащие отблески озера, отчего казалось, будто за стёклами медленно движется вода. Дорожка между домами занимала меньше минуты, но позже он почти не мог вспомнить, как пересёк её, как повернул тяжёлую латунную ручку, как бесшумно вошёл в прохладный вестибюль и поднялся по каменной лестнице на второй этаж.

Он помнил только запах. Хлороформ. Сырой известняк старых стен. Лавандовое мыло, которым сестры милосердия стирали постельное бельё.

И под всем этим, едва различимый, невозможный запах стылой воды, будто кто-то совсем недавно принёс в коридор часть озера и оставил её здесь медленно дышать.

Дверь двенадцатой палаты была открыта.

Кровать была пуста.

Одеяло было аккуратно откинута в сторону, с той странной бережностью, с какой сомнамбулы иногда обращаются с вещами, не узнавая людей.

На подушке ещё темнела вмятина от головы.

Маленькая лампа у кровати продолжала гореть. Её фитиль был убран почти до конца, и жёлтый свет едва достигал противоположной стены.

Окно было распахнуто настежь. Обычный латунный шпингалет стоял вертикально. Его можно было откинуть одним движением пальца — именно поэтому Маринеску накануне настоял на второй защите.

Маринеску шагнул к нему и перегнулся через подоконник.

Внизу темнели кусты сирени, дорожка, неподвижный прямоугольник газона и влажная серебристая полоса, где лунный свет ложился на гравий.

Элис не было. И именно это испугало его по-настоящему. Страх овладел им полностью. Это был тот страх, который возникает в человеке раньше имени, раньше Бога, раньше закона, страх перед водой, которая зовёт того, кто спит.

Маринеску вышел из палаты и осмотрелся.

Коридор был пуст.

Дежурная сестра спала, уронив голову на раскрытый журнал наблюдений. Лампа под зелёным стеклянным абажуром освещала только её руки и страницу с аккуратными строчками вечернего обхода.

Он хотел окликнуть её, но передумал. Потом. Сначала нужно найти Элис.

Выходя из клиники, он вдруг вспомнил: мастер должен был ещё вчера установить на окно двенадцатой палаты дополнительный запор — тяжёлую коробку из тёмной стали с двумя ригелями и маленьким ключом, который следовало хранить у дежурной сестры. Маринеску заказал замок у люцернского слесаря после того, как заметил, что старый шпингалет открывается от лёгкого нажима. Речь шла только об одном окне и только об одной пациентке; превращать верхний этаж в тюрьму он не собирался. Келлер поворчал из-за испорченной рамы и всё же согласился.

Почему запор не поставили? Мысль мелькнула и исчезла. Врач внутри него машинально отмечал детали, человек уже искал.

Он шагнул в ночь и только тогда понял, что не взял с собой источника света.

У двери дежурного висела тяжёлая керосиновая лампа с полированной бронзовой ручкой. Её света хватало лишь на то, чтобы темнота приобрела очертания. Возвращаться было поздно. Он взял её.

Полная луна стояла высоко в небе. Дорожка уходила к старому саду, за которым начинался склон к озеру. Там же находился заброшенный колодец.

Маринеску ещё сильнее ускорил шаг. Он думал об Элис. Вернее, запрещал себе думать о ней иначе, чем подобает врачу.

Она появилась в клинике четыре месяца назад. Двадцать шесть лет. Вдова торговца тканями из Базеля.

Диагноз созрел быстро: тяжёлые приступы сомнамбулизма, сопровождавшиеся необычайно сложными двигательными действиями. Во сне она могла одеться, открыть двери, выйти в сад, разговаривать с людьми, которых не видела.

Но диагноз объяснял далеко не всё.

Маринеску вспоминал её лицо, ясное и будто даже слишком живое. В ней было то редкое свойство, которое невозможно занести в историю болезни. Казалось, она присутствовала в каждом мгновении целиком. Когда она слушала, исчезало всё остальное. Когда она смотрела, человеку хотелось договорить мысль до конца, даже если он ещё не начал говорить.

Тёмные кудрявые волосы почти всегда были собраны небрежно, словно она каждый раз забывала закончить движение. Несколько прядей неизменно освобождались и жили собственной жизнью.

Глаза... Маринеску ни разу не смог определить их цвет. Иногда они казались почти чёрными, иногда янтарными, иногда в них неожиданно появлялся густой зелёный отблеск, какой бывает у воды перед грозой.

За всё время лечения Элис лишь однажды испугалась по-настоящему — на первом осмотре. Но стоило Маринеску положить ладонь на спинку кресла рядом с ней и спокойно сказать:

— Теперь вы в безопасности.

После этих слов её дыхание сразу выровнялось.

Она доверяла ему так, как иногда доверяют дети. Именно поэтому директор клиники поручил случай Элис ему.

Маринеску был самым молодым из докторов клиники. Он ещё не достиг сорока, он уже успел опубликовать несколько работ о сомнамбулизме и переписывался с доктором Фрейдом, который с интересом отзывался о его наблюдениях.

«Вы удивительно быстро устанавливаете контакт с пациентами», — писал Фрейд в последнем письме.

Раньше Маринеску улыбнулся бы, вспомнив эту фразу, если бы сейчас ему не становилось всё труднее дышать.

Контакт. Какое удобное слово. Оно ничего не объясняло.

Порой ему казалось, что он заранее знает, когда Элис поднимет голову. Иногда он ловил себя на том, что заканчивает её фразы раньше неё самой. И всякий раз объяснял это опытом, наблюдательностью, контрпереносом, любым словом, которое позволяло не замечать очевидного. Между ними происходило нечто, чему ещё не придумали названия.

Он пошёл дальше, вниз по склону, туда, где сад терял форму и становился просто землёй, травой, влажными корнями. И только теперь, среди деревьев, Маринеску пожалел о том, что сам никогда не видел снов.

Сон приходил к нему как затемнение. Пациенты рассказывали о лестницах, городах, зверях с человеческими глазами. Маринеску ничего подобного не видел. Иногда ему казалось, что дело вовсе не в отсутствии снов. Возможно, это сама его жизнь была слишком похожа на сон, чтобы из неё можно было проснуться. Именно поэтому сомнамбулы волновали его сильнее остальных больных.

Поначалу он считал это преимуществом. Это делало его чистым врачебным инструментом: никаких образов, никакой ночной грязи, никакого личного материала, который мог бы вмешаться в наблюдение. Позже это стало тревожить, потом стало казаться наказанием.

Иногда, особенно под утро, когда за окном начинали светлеть горы, ему приходила странная мысль: возможно, дело вовсе не в том, что он не видит снов. Возможно, он сам живёт внутри одного бесконечного сна, слишком ровного, слишком упорядоченного, слишком похожего на жизнь, чтобы из него можно было проснуться.

Клиника, приёмы, обеды с Хеленой, белые простыни, аккуратно сложенные диагнозы — всё имело форму. И всё чаще эта форма казалась ему стеклянной крышкой, небрежно отделяющей его от жизни.

В сомнамбулах его тревожило не безумие, а какая-то тайная дверь в иной мир.

Человек вставал, не просыпаясь, ходил по комнатам, открывал двери, произносил чужие фразы, будто какая-то часть души не соглашалась оставаться запертой в теле. Врачи вместе с ним называли это расстройством, но иногда ему казалось: сомнамбула болен не потому, что ходит во сне. Возможно, болен как раз тот, кто никуда не может выйти.

Он остановился так резко, что ветка ударила его по лицу.

Перед ним из темноты медленно выступал невысокий деревянный сруб.

Маринеску сразу узнал его — старый колодец, которым давно не пользовались. Ещё весной директор обещал накрыть его тяжёлой дубовой крышкой. Потом распорядился обнести оградой. Потом всё отложили до осени, как часто бывает с вещами, которые кажутся неопасными до первой беды.

Маринеску вышел из тени деревьев и увидел её. Элис стояла у колодца — босая, в одной ночной рубашке, тонкой, слишком светлой для этой земли и этой ночи. Подол намок от травы и прилип к щиколоткам. Волосы были распущены; днём они казались тёмно-каштановыми, почти чёрными, а теперь в лунном свете в них проступал холодный синий отблеск. Несколько прядей лежали на щеке, одна прилипла к губам.

Он подошёл ещё на несколько шагов.

Элис стояла у самого края старого колодца. Лунный свет ложился на её лицо так ровно, что оно казалось высеченным из светлого камня. Босые ступни почти сливались с влажной травой. Подол длинной ночной рубашки едва заметно колыбался от ветра. Она не дрожала. Её лицо было обращено к колодцу, но глаза смотрели не вниз, а сквозь него, будто под каменным кругом находилась не вода, а огромное пространство и она прислушивалась к нему. В этот миг казалось, что ночь временно взяла её из человеческого мира и ещё не решила, вернуть ли обратно.

И только теперь Маринеску увидел то, чего не заметил сразу. Правая нога уже касалась низкого каменного бортика, словно она собиралась сделать ещё один шаг, и не знала, что дальше земли больше нет.

У него похолодели руки. Вот чего он боялся, сам того не понимая. Ещё одно движение, и удержать её было бы уже невозможно.

Маринеску заставил себя не броситься к ней сразу. Он поставил лампу прямо на влажную землю. Пламя дрогнуло, стекло тихо звякнуло. Жёлтый круг света лёг у самых камней колодца.

С сомнамбулами нельзя обращаться резко. Он хорошо знал это. Нельзя было кричать, хватать за плечи, встряхивать, пугать, будить. Резкий испуг мог оборвать хрупкую нить между сном и телом, и тогда тело, лишённое внутреннего проводника, делало случайное резкое движение. У окна, на лестнице, у воды это могло закончиться смертью.

Нужно было говорить тихо, просто, не спорить, не возвращать в реальность, а войти в ритм сна и осторожно направить движение.

Маринеску заговорил почти шёпотом.

— Элис, — сказал он.

Голос прозвучал почти так же, как в кабинете, когда он просил её следить за дыханием.

Она не обернулась, только пальцы её правой руки чуть сильнее сжались на каменном краю колодца.

Он подошёл ещё ближе и увидел её ступни в мокрой траве, тонкие голубоватые жилки на подъёмах, тёмную землю у пяток. Видел, как медленно поднимается и опускается её грудь под тонкой тканью ночной рубашки. Ещё один шаг вперёд, и она могла сорваться вниз.

Маринеску остановился в нескольких шагах. Он вслушивался в её дыхание, затем очень тихо позвал:

— Элис...

Она не пошевелилась. Только голова едва заметно склонилась, словно далёкий голос медленно просочился в её сон. Он ждал.

— Элис, если вы меня слышите...

Он не закончил фразу. Пальцы её правой руки, лежавшие на холодном дереве, дрогнули и медленно ослабли.

Маринеску впервые за эту ночь позволил себе вдохнуть полной грудью. Она слышала его.

— Очень хорошо, Элис, — сказал он почти тем же голосом, каким разговаривал с ней во время сеансов. Спокойным, ровным, без малейшего нажима. — Не открывайте глаза. Вам не нужно просыпаться. Просто продолжайте слушать мой голос.

Она чуть повернула голову к его голосу.

— Сейчас вы сделаете шаг назад.

Ему показалось, что она улыбнулась.

— Один шаг, Элис. Только один. Я рядом.

Она не сразу перенесла вес на вторую ногу. Каменный край будто удерживал её. Маринеску протянул руку, но не коснулся её.

— Теперь подойдите ко мне.

Она качнулась. На одно страшное мгновение он решил, что не успеет.

Тело его двинулось раньше мысли.

Он подхватил её у самого края, одной рукой за талию, другой под плечи. Элис была легче, чем он ожидал. Или это ночь почти перестала подчиняться привычным законам тяжести. Он чувствовал её живое, упрямое тепло под холодной тканью. Её голова упала ему на грудь, волосы коснулись его подбородка.

— Доктор, — прошептала она во сне так тихо, что он мог принять это за движение воздуха.

— Я здесь.

Она не открыла глаз.

— Они звали...

Он не спросил кто.

— Я тоже звал вас, Элис.

Он опустил её на мгновение на край деревянного сруба, чтобы удобнее перехватить, затем поднял на руки осторожно, как поднимают ребёнка или раненого. Лампа осталась в траве у колодца. Её круг света уже не достигал дорожки, но луна была так ясна, что обратный путь проступал между деревьями бледной полосой. Руки Элис бессильно скользнули вниз: одна осталась у него на плече, другая свесилась, тонкие пальцы едва касались его рубашки.

Он хотел сказать что-то ещё, что-нибудь успокаивающее, но не нашёл слов.

Сад перед ним казался длиннее, чем прежде. Дом наверху белел между деревьями, далёкий, неподвижный, почти невозможный. Где-то на втором этаже было открыто окно двенадцатой палаты. Оттуда, из темноты, вытекал узкий прямоугольник жёлтого света.

Элис лежала у него на руках спокойно. Только однажды, уже у самой двери, её пальцы чуть сжались на его плече.

— Не говорите им, — прошептала она.

Маринеску не знал, проснулась ли она, и не знал даже, к кому относится это «им»: к сёстрам, врачам, тем, кто звал из колодца, или к миру, которому вообще не следовало рассказывать всё, что происходит с человеком ночью.

Он тихо сказал ей на ухо:

— Я вас не выдам.

Он ещё не знал, кому в действительности дал это обещание.

Элис не проснулась даже когда он поднимался по лестнице, лишь однажды глубоко вздохнула и теснее прижалась щекой к его плечу, словно во сне искала более удобное положение. Дежурная сестра вскочила, увидев их, побледнела, начала что-то бессвязно объяснять, но Маринеску только коротко поднял ладонь.

— Тише. Позже.

Он прошёл мимо неё, затем всё-таки остановился.

— Лампа осталась у старого колодца. Когда рассветёт, пошлите за ней служителя.

Сестра Агнес посмотрела на босые ноги Элис, на мокрый край её рубашки и быстро кивнула.

Ему не хотелось сейчас никого ни в чём обвинять. Он и сам ещё не понимал, чего именно избежал этой ночью.

В палате всё осталось таким, каким он покинул её. Створки распахнутого окна медленно покачивались на сквозняке. Маленькая лампа у кровати всё ещё горела. На прикроватном столике лежала раскрытая книга.

Маринеску осторожно опустил Элис на кровать. Она лишь медленно повернула голову набок и глубоко, почти счастливо вздохнула, будто наконец вернулась туда, куда стремилась всю ночь.

Доктор уже хотел укрыть её одеялом, когда что-то заставило его задержать руку. Волосы Элис были влажными, даже не просто влажными, с них стекала вода редкими, тяжёлыми каплями.

Он нахмурился. Это было невозможно.

По дороге обратно они не подходили к озеру. Трава намочила только край её рубашки и босые ступни, волосы же оставались сухими. Он хорошо помнил, как они касались его подбородка.

Первая капля сорвалась с кончика тёмной пряди и упала на деревянный пол.

Маринеску машинально ждал короткого, привычного звука, но услышал совсем другое.

Гул. Очень далёкий, глубокий гул. Так звучат огромные каменные пространства, в которых человеческий голос теряет собственные границы и становится частью самого воздуха.

Он замер. Свалилась ещё одна капля. И снова... не вода. Тот же гул, теперь отчётливее, словно где-то далеко, под толщей земли, медленно дышало огромное помещение.

Маринеску поднял голову. Потолок палаты исчез. Над ним поднимался высокий каменный купол.

Он уходил во тьму так высоко, что взгляд терял его раньше, чем достигал вершины. По окружности купола тянулись едва различимые рельефы, почти стёртые временем: женские лица, рыбы, голуби, переплетённые волны, странные письмена, давно утратившие свой язык. Камень был не серым, а тёплого медового оттенка, словно тысячелетиями впитывал в себя свет живого огня и теперь сам тихо светился изнутри.

Свет маленькой лампы исчез, но тьма не стала полной. Под высоким сводом висели тяжёлые бронзовые лампы на длинных цепях. Их пламя не дрожало от сквозняка. Оно дышало медленно и ровно, как дыхание огромного спящего существа. Свет не рассеивал темноту, а лишь осторожно приоткрывал её, оставляя за каждой колонной, за каждой аркой обещание новых глубин. Казалось, сумрак здесь был создан не отсутствием света, а его избытком, который человеческий глаз просто не мог вместить.

Где-то очень далеко, под каменными плитами, медленно капала вода. Каждая капля рождала долгое, почти музыкальное эхо, и оно не затихало, а вплеталось в низкий, едва уловимый гул всего пространства. Иногда казалось, что звучит не вода, а сам камень, вспоминающий бесчисленные молитвы и прикосновения, пережитые за многие столетия.

Воздух был густым, почти осязаемым. Он пах прогретым известняком, миррой, оливковым маслом, дымом древних смол, морской солью и терпкой сладостью раскрытого граната. Запахи не смешивались. Они существовали одновременно, как голоса в хорошо настроенном хоре, образуя не аромат, а память о тысячах совершённых здесь ритуалов.

И всё же сильнее всего поражало не это. Храм не казался заброшенным. Он казался ожидающим.

Сначала ему показалось, что храм неподвижен.

Так человек, вошедший в незнакомую комнату ночью, поначалу видит только массу темноты и вещей, а уже потом различает стол, кресло, складки штор, чей-то оставленный платок. Маринеску пытался удержать хотя бы одну разумную последовательность: лестница, коридор, дверь, кровать, капля, упавшая с волос Элис. Но между каждым звеном вдруг открывалось слишком много пространства. Он всё ещё помнил палату и одновременно не мог указать, где она закончилась.

Храм не был пуст. Он просто ещё не весь проявился.

Тьма под куполом медленно отступала, не исчезая, а как будто вспоминая свои границы. Из неё проступали высокие стены, массивные полуколонны, углубления ниш, тёмные провалы проходов. В одной нише стояла чаша, в другой лежало что-то похожее на свёрнутую ткань или сброшенную змеиную кожу. Дальше угадывались ступени, уходившие вниз, к воде, хотя никакого берега Маринеску не видел.

Камень не блестел, но держал в себе мягкий внутренний свет, как бывает у кожи человека, согретой изнутри болезнью или любовью. Пламя бронзовых лампад текло по стенам, задерживалось в углублениях древней резьбы, скользило по выступам, на мгновение оживляя лица богов, рыб, птиц и существ, которых он не смог бы назвать. Казалось, храм не освещали. Он сам вспоминал собственные очертания.

Откуда-то из глубины доносился размеренный глухой звук падающих капель, будто вода падала не на камень, а на воду. Воздух был наполнен тем особым дыханием, которое возникает под высокими сводами, где каждый шёпот живёт ещё несколько секунд после того, как человек замолчал. К мирре и соли примешивался слабый горький запах масла, давно прогоревшего,

но не остывшего до конца. Словно служба здесь закончилась несколько мгновений назад, хотя последние молящиеся покинули храм раньше появления известных ему религий.

Где-то совсем рядом дрогнул огонь. Одна из лампад померкла, зато другая, дальше по кругу, вспыхнула ярче. За ней отозвалась следующая. Свет не исчезал, а перемещался по храму, постепенно открывая то, что прежде скрывалось за краем зрения.

Маринеску опустил глаза и только тогда понял, что под ногами не деревянный пол палаты, а гладкий чёрный камень, местами покрытый тонким слоем воды. Она лежала в низких углублениях пола, в узких каналах между плитами, у подножия алтаря. В каждом её тёмном зеркале отдельно горела лампада, и потому невозможно было решить, где находится настоящий огонь — над его головой или в глубине под ногами.

Храм не производил впечатления места, которое удалось найти. Он производил впечатление места, которое всё это время ждало именно их.

Храм просыпался без торопливости. Гул не стихал и напоминал низкое внутреннее дыхание пространства, будто огромная грудная клетка медленно расширялась вокруг них.

Маринеску хотел сделать шаг назад, но не смог. Вся его привычная способность распоряжаться телом стала неуместной. В клинике он знал, где стоит, зачем находится, что должен сделать. Здесь ни одно из этих знаний не исчезло, но стало слишком маленьким, как становятся маленькими городские часы под ночным небом.

Он посмотрел на Элис.

Кровать тоже изменилась. Или, точнее, перестала быть кроватью. На её месте стояло низкое каменное ложе, покрытое светлой тканью, влажной по краям. Элис лежала на нём так тихо, будто сон наконец добрался до самой своей глубины и уже не требовал от тела движения. Ночная рубашка сменилась длинным тонким одеянием цвета молока, в которое попала лунная пыль. Ткань мягко обрисовывала плечи, руки, изгиб коленей, но не обнажала, а скорее возвращала телу какую-то древнюю ясность. Её волосы рассыпались по камню тёмной тяжёлой волной; с кончиков всё ещё стекала вода, но теперь капли падали без звука, растекались по каменному полу, словно возвращались туда, откуда были взяты.

Её лицо было прежним: тёмные ресницы, мягкий рот, тонкая линия бровей, живая неправильность черт, из-за которой красота не застывала, а всё время продолжалась. Но теперь на её лице лежало выражение такого покоя, какого Маринеску никогда не видел у больных. Это не был сон истощения, не забытье. Скорее она находилась в месте, где её наконец не тревожили.

Он вдруг почувствовал мучительную нежность и почти сразу стыд, потому что даже здесь, среди камня, лампад и невозможной соли в воздухе, он всё ещё оставался врачом — человеком, который должен различать чувство и симптом, присутствие и перенос, близость и клиническую ошибку. Но храм, казалось, не признавал этих различий.

На дальней стене, за алтарём, медленно выступил главный образ.

Сначала Маринеску увидел только огромный тёмный контур, потом корону, потом две раскрытые руки, потом длинные волосы, спускавшиеся по плечам каменной женщины. Ниже тело переходило не в ноги, а в нечто иное: складки, чешуя, волна, рыбий хвост. Лицо было почти стёрто, но от этого не стало безличным. Напротив, в нём появилось то страшное достоинство древних богинь, чьи лица постоянно меняются.

У её ног были голуби, рыбы и раскрытый гранат, из которого не выпадали зёрна.

В этот миг Элис вдохнула. Её дыхание изменило храм сильнее, чем свет лампад.

Пламя на мгновение стало выше. Вода в каналах едва заметно дрогнула. По камню прошёл почти неслышимый отклик, как по телу проходит дрожь перед пробуждением. Элис медленно открыла глаза.

Сначала она смотрела вверх, туда, где в темноте терялся купол, потом повернула голову и увидела Маринеску.

Она не испугалась. Это было первой невозможностью. Она не спросила, где она, и это стало второй.

Она лишь долго смотрела на него, и в её взгляде постепенно появлялось не узнавание человека, а узнавание положения: она лежит, он стоит рядом, между ними произошло что-то, чего никто из них не сможет объяснить прежними словами.

— Доктор, — сказала она тихо.

Голос был немного иным, как будто та же самая нота прозвучала в большем помещении.

Маринеску хотел ответить сразу, но не смог. Горло пересохло. Он вдруг понял, что боится собственного голоса: здесь всякое слово могло менять пространство.

— Элис, — произнёс он наконец. — Вы слышите меня?

Она печально улыбнулась.

— Да.

И после короткого молчания добавила:

— Но теперь я слышу не только вас.

Маринеску медленно опустил руку, которую всё ещё держал на краю каменного ложа. Только теперь он заметил, что пальцы касаются не простыни, а влажного, тёплого камня. Он убрал руку.

Элис повернула голову к стене за алтарём, к огромной женской фигуре, к рыбам, голубям и неподвижному гранату. На её лице была странная, почти детская серьёзность человека, который увидел то, что давно знал, но не помнил.

— Я была здесь, — сказала она.

Маринеску услышал в этой фразе ловушку и тут же ухватился за единственное, что ещё могло служить ему опорой.

— Вам могло сниться это место.

— Нет, — сказала Элис спокойно.

Она посмотрела на него.

— Сны уходят, когда просыпаешься.

Где-то в глубине храма снова закапала вода. На этот раз звук был ближе.

Маринеску хотел сказать, что и это тоже пройдёт, что сознание после сомнамбулического приступа способно удерживать связанные галлюцинаторные картины, что истерическое состояние часто создаёт чрезвычайно убедительную внутреннюю сцену. Он знал все нужные слова, но ни одно не поднялось к губам, потому что Элис смотрела не как больная. И храм молчал не как галлюцинация.

Элис медленно поднялась с ложа. Она двигалась так, словно не проснулась, а лишь сменила глубину сна: ни удивления, ни страха не было в её лице. Босыми ступнями она коснулась влажного камня, и по узким каналам между плитами пробежала едва заметная рябь. Храм ответил узнаванием.

Маринеску не мог отделаться от ощущения, что это место не существует без человека. Пока они молчали, молчал и храм. Когда Элис сделала первый шаг, где-то под самым куполом вспорхнула птица. Серое крыло на мгновение пересекло свет лампы и снова исчезло во тьме. Потом ещё одна. И ещё.

Голуби. Они жили здесь так давно, что перестали бояться людей. Элис подошла к узкому каналу, по которому медленно текла вода. Она опустилась на колени и провела кончиками пальцев по её поверхности.

Вода не отражала лица. В ней не было ничего, кроме глубины.

— Доктор...

Она произнесла это почти шёпотом.

— Вам не кажется...

Она долго искала слова.

— ...что это место существовало ещё до того, как люди научились бояться богов?

Маринеску не ответил. Теперь он видел, что весь пол был испещрён тончайшими линиями. Сначала они казались случайными трещинами. Потом взгляд начал складывать их в рисунок: круги, волны, переплетённые спирали, рыбы, женские ладони, фазы луны. Все изображения постепенно соединялись в один огромный узор, который невозможно было увидеть целиком, находясь внутри него.

Маринеску неожиданно подумал, что человеческая жизнь устроена точно так же: человек всегда стоит на одном фрагменте и потому принимает доступную ему линию за весь рисунок.

Он медленно приблизился к тому, что сперва принял за алтарь. Перед ними возвышался огромный камень без надписей, изображения божества и углубления для жертвенной крови. Его назначение выдавалось только прикосновениями: середина была отполирована тысячами ладоней, края оставались шероховатыми. Поверхность светилась тем особенным матовым блеском, который появляется от невероятной продолжительности любви.

Над камнем висела единственная бронзовая чаша. В ней горел огонь без копоти и дыма, словно пламя питалось не маслом, а самим временем.

Маринеску осторожно протянул руку. Он не собирался прикоснуться, только разглядеть ближе.

Воздух над алтарём оказался странно тёплым. Он вдруг понял, что это чувство ему знакомо. Так иногда бывает рядом с человеком, которого любишь, когда ещё ничего не произошло, но само пространство уже становится гуще. Он резко отдернул руку.

Элис долго смотрела на него и наконец сказала:

— Вы тоже почувствовали?

Он хотел ответить как-то привычно, но слова снова показались такими же бессмысленными, как попытка измерить глубину моря линейкой.

— Да.

Только это он и смог произнести. Элис снова улыбнулась.

— Тогда не отступайте.

Она подошла ближе к алтарю.

В ту же секунду пламя в бронзовой чаше стало выше. Маринеску почувствовал это всем телом, словно в пространстве внезапно стало на одного невидимого свидетеля больше. Ему казалось, что он подходит не к камню, а к самому центру собственного молчания.

Элис ещё долго стояла у алтаря, не касаясь его. Казалось, ей достаточно было находиться рядом.

Маринеску заметил, что она почти не дышит. Или, наоборот, её дыхание настолько совпало с дыханием самого храма, что различить их стало невозможно.

Он вдруг попытался вспомнить, как они оказались здесь. Мысль возникла неожиданно и тут же рассыпалась, словно он попытался удержать воду в ладонях.

Казалось, они только что вошли. Или шли уже очень давно.

Время перестало складываться в последовательность событий. Оно лежало вокруг них целиком, как озеро. На мгновение ему показалось странным, что он вообще пытается что-то вспомнить. Он больше не знал, сколько времени они находятся здесь: минуту, несколько часов, всю жизнь. И самым странным было то, что это больше не имело никакого значения.

Он наконец нарушил молчание.

— Мы должны рассказать.

Элис не сразу обернулась.

— Кому?

— Келлеру. Другим врачам. Людям, которые сумеют понять, что это за место.

Собственный ответ придал ему на несколько секунд прежнюю ясность. Нужно было восстановить путь: выйти к саду, отметить положение колодца, измерить расстояние до берега,

вернуться днём. Но стоило представить карту, как он понял, что не знает, с какой стороны они вошли. За спиной не было ни двери, ни прохода, ни даже стены, возле которой могла бы находиться дверь. Только тёмные ступени уходили вниз и терялись в неподвижной воде.

Элис провела ладонью над камнем, не касаясь.

— Что вы им расскажете?

— То, что видел.

— Купол? Лампады? Изображение женщины с рыбьим хвостом?

— Для начала.

— А потом они попросят привести их сюда.

Маринеску промолчал.

— Вы сможете? — спросила она.

В её голосе не было торжества. Только вопрос, от которого всё сказанное им стало ненадёжным.

— Не знаю.

— Тогда, возможно, вы расскажете не о храме. Только о словах, которыми попытались его удержать.

Где-то под полом продолжала течь вода.

— Представьте, — тихо сказала Элис. — Сюда всё-таки придут люди: археологи, историки, газетчики. Они опишут каждый камень. Через несколько лет появится книга, потом музей. Экскурсовод будет повторять одно и то же перед каждой группой: «Перед вами храм неизвестной цивилизации...»

Она подняла глаза к куполу.

— И однажды сюда войдёт ребёнок, который ещё умеет удивляться. Он посмотрит туда же, куда сейчас смотрим мы, и ничего не увидит. Не потому, что ему неостанет воображения. Потому что до него всё уже будет сказано.

— Знание не обязано делать мир беднее.

— Не знание, — возразила Элис. — Уверенность, что слово уже вместило вещь.

Она произнесла это почти сердито и тут же смутилась собственной резкости.

— Когда я была маленькой, отец показал мне вечернюю звезду. «Это Венера, — сказал он. — Планета, а не звезда». Несколько лет я была уверена, что знаю её. Потом однажды посмотрела на небо и поняла: я знаю только слово. Она всё это время оставалась гораздо больше.

Маринеску медленно опустился на край каменной плиты.

— Значит, нам следует предпочесть невежество?

— Я этого не говорила.

— Но именно к этому ведут ваши слова.

— Нет. Я говорю, что не всё неизвестное просит нас немедленно его исправить.

Она подошла ближе. Теперь между ними оставалось меньше шага.

— Вы лечите людей, доктор. Разве вам никогда не казалось, что объяснение иногда становится последней стеной? Человек получает историю своей боли — стройную, убедительную — и больше не может выйти за её пределы.

Маринеску посмотрел на неё резче, чем хотел. Такие больные у него были. После диагноза они начинали вспоминать только то, что ему соответствовало, и постепенно делались безупречным доказательством поставленного им диагноза.

— Объяснение может и освободить, — сказал он.

— Может.

Элис не спорила. Она только повернула ладонь, и отражение огня скользнуло по линии её жизни.

— Но это место не просило нас о свободе.

Он поднял голову к огромной женской фигуре за камнем.

— Доктор Фрейд сказал бы, что тайна существует лишь до тех пор, пока мы не нашли правильный ключ.

Элис впервые совсем тихо рассмеялась.

— Возможно. Но правильный ключ не всегда открывает дверь. Иногда он всего лишь убеждает человека, что перед ним была дверь.

Маринеску хотел ответить и не ответил. Мысль о мире как о книге, которую человечеству однажды предстоит дочитать до последней страницы, всё ещё казалась ему верной. Только теперь он впервые увидел в ней не торжество, а угрозу последней точки.

Элис осторожно взяла его за руку.

— Обещайте мне одну вещь.

— Какую?

Она посмотрела ему прямо в глаза.

— Если мы отсюда выйдем, не рассказывайте никому.

— Из-за вас?

— Не ради меня.

Элис оглянулась на тёмные ступени, на воду под камнем, на лицо богини, стёртое бесчисленными годами.

— И, может быть, даже не ради этого места. Просто не делайте его нашим. Не так скоро.

Последние слова она произнесла тише, словно сама не до конца понимала, о храме говорит или о том, что уже произошло между ними.

Маринеску долго молчал, затем медленно сжал её ладонь и сказал:

— Обещаю.

Они подошли ближе к алтарю почти одновременно. Никто не сделал первого шага.

Позже Маринеску не смог бы вспомнить, кто из них двинулся раньше. Казалось, не они приблизились к камню, а само пространство медленно сомкнулось вокруг них, сокращая расстояния так же естественно, как море сокращает следы на песке.

Вблизи алтарь оказался совсем не таким, каким виделся издалека. Его поверхность не была гладкой. Она хранила тысячи едва заметных прикосновений. Где-то камень был отполирован до мягкого блеска, где-то оставался шероховатым, словно человеческие ладони снова и снова останавливались на одних и тех же местах. Маринеску неожиданно подумал, что перед ним не археологическая находка.

Перед ним была память самого прикосновения. Он осторожно положил ладонь на камень. Тепло медленно поднималось навстречу его руке, узнавая её раньше, чем он успел коснуться поверхности. И в этот миг произошло нечто, чему он не нашёл бы названия.

Всю жизнь Маринеску собирал человеческие страдания так же бережно, как библиотекарь собирает рассыпавшиеся страницы книги. Он лечил, объяснял, соединял причины со следствиями, возвращал людям последовательность.

Ему казалось, что именно в этом и заключается его природа, но сейчас он вдруг почувствовал ещё одну свою глубину.

Она не была ни зловещей, ни прекрасной. Она была древнее этих слов. Это была та глубина, в которой желание не отделялось от благоговения, страх от восхищения, тело от духа. Всё, что он столько лет аккуратно раскладывал по отдельным полкам сознания, здесь существовало одновременно, не мешая друг другу.

Маринеску медленно убрал руку. Ему хотелось отступить, но рядом стояла Элис.

И он вдруг увидел её так, как никогда не видел прежде. Она казалась ему тайной, которая по какой-то необъяснимой причине приняла человеческий облик.

Он смотрел на её лицо и понимал, что не может удержать взгляд на отдельных чертах. Красота Элис возникала где-то между ними, как возникает музыка между отдельными звуками.

Лампады дрогнули. Элис подняла голову. Несколько бесконечных мгновений они просто смотрели друг на друга без смущения и ожидания, словно впервые увидели не лица, а ту часть другого человека, которая обычно скрыта даже от него самого.

Маринеску неосознанно коснулся пряди её волос кончиками пальцев, убрал её с лица и задержал ладонь у её щеки, не касаясь.

Элис закрыла глаза. Её лицо легко, почти невесомо опустилось в его ладонь, как опускается птица на ветку, заранее зная, что та выдержит её вес.

Маринеску почувствовал под пальцами живое тепло кожи, и вместе с ним пришло странное ощущение. Ему показалось, что он касается не женщины, а самой границы мира, той тонкой перепонки, за которой всё ещё остаётся неназванным.

Он медленно провёл большим пальцем вдоль её виска, словно хотел запомнить не черты лица, а их невозможность.

Элис открыла глаза. В них не было ни приглашения, ни вопроса, только тихая благодарность за то, что он не пытался разгадать её.

— Теперь понимаете? — едва слышно спросила она.

— Что?

— Почему некоторые тайны нельзя объяснять.

Он почти шёпотом ответил:

— Потому что тогда они перестанут быть тайнами?

Она покачала головой.

— Нет. Потому что тогда... мы перестанем ими быть.

Маринеску почувствовал, как внутри него оборвалась последняя уверенность, что человека можно понять до конца.

Он медленно наклонился к Элис, повинаясь тому же движению, с которым несколько минут назад протянул руку к алтарю. Разницы между этими двумя жестами больше не существовало.

Ему казалось, что, приближаясь к её лицу, он приближается к той части мироздания, которую нельзя присвоить, объяснить или удержать. Её можно только встретить и на одно бесконечно короткое мгновение узнать.

Расстояние между ними исчезло так же незаметно, как прежде исчез потолок палаты, будто существовала какая-то мера близости, за пределами которой человек перестаёт приближаться телом и начинает приближаться самой своей сутью.

Он видел Элис совсем рядом. И вдруг понял, что впервые в жизни не пытается её понять, не ищет причины её слов, не сопоставляет симптомы.

Впервые за все годы врачебной практики перед ним был человек, которого он не хотел объяснять. Желание приблизиться не исчезло, но рядом с ним возникло другое, почти противоположное: не повредить её непостижимости собственным пониманием.

Ему хотелось убедиться: она действительно существует. Кончики его пальцев коснулись её висков, потом мягко скользнули вдоль линии лица, словно запоминая не черты, а тот невидимый свет, который проступает в человеке только тогда, когда он перестаёт защищаться.

Элис доверилась самому мгновению. Её ладони нашли его руки и легли поверх них. В этом жесте не было ни просьбы, ни разрешения. Только спокойное признание того, что отступить к прежним ролям они уже не успели.

Ладони Элис были холодны как камень, всю ночь пролежавший под звёздами. Он осторожно перевернул её руки, медленно расправляя пальцы, словно боялся причинить боль не

ей, а самому этому мгновению. Его большой палец едва коснулся тонкой линии, уходящей к запястью.

Храм молчал, но это молчание больше не было пустотой. В нём сгустилось бесчисленное множество людей, когда-то приходивших сюда с надеждой назвать то, что не поддаётся имени. Теперь он понимал, почему им это не удалось.

Что-то исчезает именно в ту минуту, когда человек пытается овладеть им словом.

Элис смотрела на него спокойно, без тени смущения, с лёгким любопытством, какое появляется только тогда, когда люди случайно оказываются по одну сторону великой тайны.

Маринеску медленно наклонился. Их лбы соприкоснулись. Он почувствовал её дыхание совсем рядом.

Они не говорили, потому что любое слово оказалось бы меньше происходящего. В какой-то миг ему показалось, что граница между его памятью и её памятью стала проницаемой.

Он увидел детскую руку, сжимающую гранатовую ветку, услышал шум того моря, которого никогда не видел, почувствовал страх маленькой девочки, проснувшейся однажды среди ночи и не сумевшей объяснить взрослым, почему вода зовёт её по имени. И почти одновременно ощутил, как Элис касается той части его собственной жизни, куда не заглядывал никто: его безмолвных ночей, его одиночества, которое он столько лет называл дисциплиной.

Он не знал, сколько продолжалось это состояние: мгновение или столетие.

Ему казалось, что они стоят у самого начала человеческой истории, когда близость ещё не была разделена на телесную и духовную, а любовь не нуждалась в объяснениях, потому что была одной из форм познания.

Ему пришло слово «посвящение», но он не знал, чему именно они были посвящены и кто совершал обряд. Возможно, ничего не происходило, кроме краткой ошибки двух сознаний. Возможно, храм на мгновение допустил их внутрь — не для того, чтобы открыть тайну, а чтобы показать, как мало значит право считать её своей.

Он больше не видел перед собой пациентку. Перед ним стояла другая вселенная, столь же неисчерпаемая, как звёздное небо или море. От этого открытия не стало спокойнее. Напротив: оно требовало от него какой-то новой точности, правил которой он ещё не знал.

Элис ещё долго смотрела на него и потом тихо сказала:

— Теперь мы должны оставить здесь то, с чем пришли.

— Что оставить?

Она подняла взгляд к огромной женской фигуре за алтарём.

— Имя.

Элис взяла его за руку и подвела к невысокой каменной чаше, наполненной водой:

— Без имени человек перестаёт быть тем, кем привык себя считать.

Вода была неподвижной, настолько прозрачной, что казалась пустотой.

Элис погрузила в неё кончики пальцев, потом приблизилась к Маринеску. Он не отступил. Она коснулась прохладной ладонью его лба.

— Здесь никто никого не знает по имени, — сказала она.

— Тогда кто мы?

Элис улыбнулась. И эта улыбка показалась ему старше самого храма.

— Никто. Именно поэтому мы можем увидеть друг друга.

Он почувствовал, как внутри него медленно осыпаются привычные определения, которые были похожи на одежду, которую человек снимает перед тем, как войти в воду. Элис вновь посмотрела на алтарь.

— Может быть, тайну вообще не нужно хранить.

— Разве нет?

— Не знаю.

Она говорила почти шёпотом, но каждое слово оставалось в воздухе, словно храм принимал его в свою память.

— Хранят то, чем владеют. А если оно никогда нам не принадлежало?

Маринеску закрыл глаза. Всю жизнь он стремился понимать каждого человека, каждую болезнь, каждый сон. Ему казалось, что понимание исцеляет. Но сейчас рядом с этим убеждением возникло другое — ещё не мысль, лишь возможность остаться возле непонятого и не немедленно превратить своё присутствие в объяснение.

Когда он открыл глаза, Элис стояла совсем рядом. Он вдруг представил, как однажды сведёт её к безупречной истории болезни: возраст, вдовство, сомнамбулизм, подавленное воспоминание, символический материал. Всё окажется на месте. Именно это видение собственной будущей правоты заставило его отвести взгляд.

Элис снова взяла его за руку. Никакой новой клятвы не прозвучало. Её большой палец медленно прошёл по костяшке его пальца — почти рассеянно, как будто она проверяла, осталось ли его тело здесь.

Маринеску поднял голову. Теперь он уже не искал в её глазах ни ответа, ни подтверждения. Он смотрел на неё так, как человек смотрит на море, понимая, что никогда не увидит его до конца.

Элис улыбнулась и почти невесомо коснулась губами его щеки.

Маринеску провёл пальцами по её мокрым волосам. Несколько тёмных прядей скользнули между его пальцев, как прохладная вода. Он остановил ладонь у её затылка, не удерживая, а принимая её присутствие целиком.

От этого прикосновения внутри него снова что-то едва заметно сместилось. Он ещё не мог назвать перемену и впервые не торопился это делать.

Их лица почти соприкоснулись. Он чувствовал её дыхание: тихое, тёплое, живое.

На одно короткое мгновение ему показалось, что между ними ещё существует последняя, почти невидимая преграда человеческой отдельности.

И тогда Маринеску коснулся её губ так осторожно, словно боялся разрушить не молчание между ними, а саму ткань мира. Поцелуй длился не дольше одного вдоха, но в этом коротком прикосновении губ не было желания удержать.

Храм ответил.

Воздух стал плотнее, словно само пространство приблизилось к ним. Где-то глубоко под полом дрогнула вода, и её отклик прошёл по камню так тихо, что его можно было скорее почувствовать, чем услышать.

Маринеску уже не понимал, закрыты его глаза или открыты.

Он видел Элис, храм, бесконечную тьму под куполом. Образы накладывались друг на друга, не становясь одним целым и не позволяя ему снова разделить их.

Последняя лампада дрогнула, не погасла, просто её свет переставал принадлежать огню и переходил в сам камень. Барельефы теряли чёткость. Лица древних женщин, рыбы, птицы, гранаты медленно растворялись, словно храм больше не нуждался в образах.

Он позволил этому мгновению пройти сквозь себя так же свободно, как проходит сквозь кроны деревьев ветер, не забирая у них ни одного листа.

И именно тогда ему показалось, что сам храм сделал тихий вдох.

* * *

Доктор Эмиль Маринеску проснулся в семь часов тринадцать минут утра.

Комната уже была наполнена бледным утренним светом. Он не сразу понял, где находится. Его взгляд медленно собрал знакомые очертания: белая занавеска, книжный шкаф, умывальный столик, старые часы на стене.

Хелена спала рядом. Она по-прежнему лежала, отвернувшись к стене, и спала так спокойно, будто ночь никогда не могла принести человеку ничего неожиданного. Всё было именно так, как ночью.

Несколько секунд он лежал неподвижно, боясь дышать, и лишь спустя время сделал несколько медленных вдохов.

Конечно. Он никуда не выходил. Не было ни открытого окна, ни сада, ни колодца, ни древнего храма. Ни Элис... В эту ночь он не покидал собственной спальни.

Маринеску неожиданно почувствовал не облегчение, а горечь.

Она пришла тихо, почти незаметно, как приходит понимание того, что прекрасная книга закончилась раньше, чем ты успел заметить её последнюю страницу.

Он закрыл лицо ладонями. Сон. Всего лишь сон. Тот самый, какого он никогда не видел. И, вероятно, никогда не забудет.

Сознание, утомлённое разговорами об истерии, долгими наблюдениями за Элис, само построило этот невозможный мир. Психика обладала поразительной способностью создавать символические конструкции. Он сам десятки раз писал об этом. И всё же... Что-то сопротивлялось столь простому объяснению.

Он не пытался вспомнить храм. Его уже невозможно было вспомнить, но осталось другое — странное чувство внутреннего смещения, будто кто-то очень осторожно переставил местами две невидимые балки, на которых столько лет держалась его душа.

Мир оставался прежним, но смотреть на него прежним взглядом уже не получалось.

Хелена тихо вздохнула во сне и перевернулась на другой бок.

Он встал, стараясь её не разбудить, подошёл к шкафу, протянул руку к вешалке, где всегда должен был висеть его отглаженный врачебный халат. Рука остановилась. Вешалка была пуста. Он долго смотрел на неё, не позволяя себе сделать ни одного вывода. Потом открыл дверцу шире, проверил соседние вешалки: рубашки, пальто, летний пиджак, другие халаты. Именно этого не было. Маринеску почувствовал, как сердце забилося сильнее.

Он помнил, что вчера вечером он действительно повесил его именно сюда. Он быстро оделся, уже не размышляя, не пытаясь ничего объяснить. Ему стало необходимо увидеть двенадцатую палату.

Клиника встретила его непривычной суетой раннего утра. В коридоре пахло свежесваренным кофе, карболовой кислотой и влажными простынями, которые несли в прачечную. Из кухни доносился звон посуды. День начинался так же, как сотни предыдущих дней. Только он сам уже не был прежним.

У стола дежурного стояла сестра Агнес. Увидев его, она заметно побледнела.

— Доктор Маринеску...

Она опустила глаза.

— Я должна попросить у вас прощения.

Он молчал.

— Вчера... плотник так и не пришёл. Тот, который должен был установить дополнительный замок. Я думала, он появится к вечеру. Потом решила, что одного старого шпингалета хватит до утра. А ночью я уснула.

Она запнулась и стиснула пальцы.

— Когда я проснулась, вы уже поднимались по лестнице. С госпожой Вайс на руках.

Маринеску смотрел на неё спокойно. После этих слов исчезла последняя возможность считать пропавший халат единственным вещественным остатком сна.

— Почему вы не нашли другого мастера?

Медсестра растерянно подняла глаза.

— Я...

— Почему?

Она молчала.

— Вы понимали, что окно остаётся без дополнительной защиты?

— Да.

— Вы знали, что госпожа Вайс ходит во сне?

Едва заметный кивок.

— Тогда объясните мне. Почему?

Она больше не пыталась оправдываться, только тихо сказала:

— Я понимаю, что виновата.

Маринеску почувствовал, что раздражение исчезает так же быстро, как возникло. На его месте осталась усталость.

— Она могла погибнуть.

Медсестра опустила глаза.

— Я понимаю.

Потом почти неслышно добавила:

— Пожалуйста... Не выдавайте меня директору. Я... Этого больше никогда не повторится.

Он долго молчал. Каждый человек однажды просит сохранить какую-нибудь тайну. И тот, кто соглашается, принимает на себя часть чужой ответственности. Ещё вчера Маринеску назвал бы такое молчание соучастием в халатности. Сегодня слово не изменило значения, но стало относиться и к нему самому.

Маринеску тихо произнёс:

— Хорошо.

Она подняла на него полные благодарности глаза, но он продолжил уже совсем другим твёрдым голосом.

— Вы никогда больше не должны допустить ничего подобного. Никогда.

Она кивнула.

— Я обещаю.

Он оставил её у стола и пошёл по длинному коридору. Шаги звучали непривычно громко. Его ждала двенадцатая палата.

Маринеску остановился у двери. Рука уже коснулась холодной ручки, но не спешила её повернуть. Несколько секунд он стоял неподвижно. Его охватило странное чувство.

Точно так же он стоял совсем недавно в храме, которого не могло существовать. Его удерживал не страх перед тем, что он увидит, а нежелание получить определённую ясность. Если Элис ничего не помнит, значит, всё действительно было сном. Тогда мир снова станет понятным, правильным, безопасным. И почему-то от этой мысли ему стало почти больно.

А если помнит? Тогда рухнет не только его представление о сне. Тогда придётся признать, что существуют двери, которые открываются сразу для двоих, и ни одна из известных ему наук не умеет этого объяснить.

Он поднял руку и снова медленно положил ладонь на холодную латунную ручку — так же, как совсем недавно положил её на тёплый камень алтаря. Дверь открылась почти бесшумно. Первым он увидел собственный халат, перекинутый через спинку деревянного стула привычным движением, каким он сам оставлял его перед осмотром.

Маринеску остановился. Несколько долгих секунд он просто смотрел на белую ткань. Значит, он оставил его здесь, отправляясь искать Элис. Он больше не был уверен ни в одном из воспоминаний.

Элис уже проснулась и сидела у окна. Створки были закрыты, старый шпингалет опущен. На раме по-прежнему не было тяжёлой стальной коробки нового запора, только четыре карандашные отметки, оставленные мастером для будущих винтов.

Солнечный свет ложился на её волосы, и теперь они снова казались просто тёмно-каштановыми, без ночной синевы и лунного серебра. Она держала на коленях раскрытую книгу, но, судя по заложенному пальцу между страницами, давно уже не читала.

Увидев Маринеску, она мягко улыбнулась.

— Доброе утро, доктор.

— Доброе утро.

Он подошёл ближе, снял со спинки халат и положил его на край кровати. Затем придвинул стул, сел, взял со стола чистую записную книжку и открыл страницу, не собираясь писать. Привычные движения постепенно возвращали ему ощущение порядка.

— Как вы спали этой ночью?

— Хорошо.

— Ничего необычного не помните?

Элис задумалась.

— Нет.

Он почувствовал, что его руки немного дрожат. Он сжал блокнот в руках.

— Голоса были?

— Нет.

Маринеску поднял взгляд. Перед ним снова сидела пациентка: спокойная, немного усталая. И вдруг ему стало удивительно легко. Плечи расслабились. Мир снова оказался понятным. Храм действительно был сном: необыкновенно красивым, но всё же сном. И, должно быть, сознание стёрло в памяти момент его возвращения домой...

Он уже собирался закончить разговор, когда услышал:

— Доктор Маринеску...

Элис смотрела куда-то мимо него, будто вспоминала.

— Мне снилось одно место.

Маринеску ничего не ответил.

— Священное место.

Она замолчала. В комнате было слышно только пение птиц за окном. Потом она сказала совсем тихо:

— И почему-то мне кажется...

Она наконец посмотрела ему прямо в глаза без всякого волнения.

— ...что мы правильно сделали.

Он почувствовал, как холод проходит вдоль позвоночника и дальше — от затылка до самых ладоней.

— Что... сделали?

Элис печально улыбнулась — так же, как тогда, во сне.

— Не рассказали никому.

Она опустила взгляд, провела пальцами по обложке книги и почти шёпотом добавила:

— Потому что некоторые тайны принадлежат не людям.

Маринеску долго молчал. Карандаш лежал поперёк чистой страницы. Ему достаточно было опустить руку и записать первые слова: «Пациентка сообщает о совместном сновидении...» Дальше появились бы вопросы, последовательность, проверяемые детали.

Он мог спросить: «Что именно вы видели?» Мог уточнить форму купола, запах масла, изображение за камнем, воду в каналах. Именно так должен был поступить исследователь. Но первый вопрос уже казался ему не началом наблюдения, а нарушением данного ночью обещания.

Он медленно закрыл блокнот, не сделав ни одной записи. Элис наблюдала за ним молча и вдруг спросила:

— Вы тоже это помните?

Он посмотрел на неё. Ответ был рядом — достаточно было назвать хотя бы одну деталь храма и увидеть, узнает ли она её.

— Какая теперь разница? — ответил он.

Улыбка Элис стала заметнее, но почти сразу исчезла. Между ними повисло молчание, в котором осталось слишком многое для первого утра.

Маринеску поднялся, взял свой халат, на мгновение задержал ладонь на белой ткани и тихо произнёс:

— Это останется между нами.

Элис покачала головой.

— Нет, доктор. Между нами было бы слишком мало.

Он медленно обернулся. Она смотрела в окно на утреннее солнце и почти неслышно сказала:

— Это останется у мира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.